

М. О. ГЕРШЕНЗОН

# СТАТЬИ О ПУШКИНЕ

Со вступительной статьей  
Леонида Гроссмана  
ГЕРШЕНЗОН—ПИСАТЕЛЬ

## Пушкин и Батюшков

Если бы иностранец спросил нас, оригинальна ли поэзия Пушкина, мы с полным правом могли бы ответить ему утвердительно. Между тем оригинальность в поэзии — понятие условное и неопределенное. Величайший из поэтов, Шекспир, большею частью заимствовал сюжеты своих драм, „Фауст“ Гёте основан на старой легенде. И у Пушкина найдется, вероятно, не мало заимствований. Все знают историю „Пира во время чумы“ и „Анджело“; возможно, как теперь пытаются доказать, что он кое-что заимствовал у Кольриджа, что в „Пиковой даме“ есть черты, взятые у Гофмана, и т. п. Тот же иностранец, приступив к ознакомлению с русской литературой Пушкинской эпохи, очень скоро напал бы на явный плагиат у Пушкина; он с торжеством открыл бы перед нами и предложил прочитать следующую страницу из статьи Батюшкова „Прогулка в Академию Художеств“:

„Вчерашний день поутру, сидя у окна моего..., я предался сладостному мечтанию, в котором тебе не могу дать совершенно отчета... Помню только, что, взглянув на Неву, покрытую судами, взглянув на великолепную набережную..., любясь бесчисленным народом, который волновался под моими окнами, сим чудесным смешением всех наций, в котором я отличал Англичан и Азиатцев, Французов и Калмыков, Русских и Финнов, я сделал себе следующий вопрос: что было на этом месте до построения Петербурга? Может быть, сосновая роща, сырой, дремучий бор или топкое болото, поросшее мхом и брусникою; ближе к берегу — лачуга рыбака, кругом которой развешены были мрежи, невода и весь грубый снаряд скудного промысла. Сюда, может быть, с трудом пробирался охотник, какой-нибудь длинновласый Финн

За ланью быстрой и рогатой,  
Прицелься к ней стрелой пернатой.

Здесь все было безмолвно. Редко человеческий голос пробуждал молчание пустыни дикой, мрачной; а ныне? Я взглянул невольно на Троицкий мост, потом на хижину великого монарха.. И воображение мое представило мне Петра, который в первый раз обозревал берега дикой Невы, ныне столь прекрасные! Из крепости Нюсканц еще гремели шведские пушки; устье Невы еще было покрыто неприятелем, и частые ружейные выстрелы раздавались по болотным берегам, когда великая мысль родилась в уме великого человека. „Здесь будет город“, сказал он, — „чудо света. Сюда призову все художества, все искусства. Здесь художества, искусства, гражданские установления и законы победят самую природу“. Сказал — и Петербург возник из дикого болота“.

Эту страничку чужой прозы Пушкин, не обвиняясь, переложил в стихи — во вступлении к своему „Медному Всаднику“:

На берегу пустынных волн  
Стоял он, дум великих полн,  
И вдаль глядел. Пред ним широко  
Река неслася; бедный челн  
По ней стремился одиноко.  
По мшистым, топким берегам  
Чернели избы здесь и там,  
Приют убогого чухонца;  
И лес, неведомый лучам  
В тумане спрятанного солнца,  
Кругом шумел. — И думал он:  
„Отсель грозить мы будем шведу;  
Здесь будет город заложен  
На зло надменному соседу“...

Прошло сто лет — и юный град,  
Полнощных стран краса и диво,  
Из тьмы лесов, из топи блат  
Вознесся пышно, горделиво.  
Где прежде финский рыболов,  
Печальный пасынок природы,  
Один у низких берегов  
Бросал в неведомые воды  
Свой ветхий невод, ныне там  
По оживленным берегам  
Громады стройные теснятся  
Дворцов и башен; корабли  
Толпой со всех концов земли  
К богатым пристаням стремятся,

и т. д.

И все же поэзия Пушкина, как и „Гамлет“, и „Фауст“, несомненно оригинальна. Очевидно здесь требуется пояснение; все дело в том, что признавать в поэзии носителем оригинальности.

Отнюдь не задаваясь целью рассмотреть этот вопрос в полном объеме, я хочу сообщить здесь лишь несколько частичных наблюдений, могущих послужить материалом для его решения. Наблюдения эти касаются как раз отношения поэзии Пушкина к поэзии Батюшкова, его ближайшего предшественника, оказавшего на него заведомо наибольшее влияние.

В „Гольфстреме“ я обнаружил у Пушкина наличие своеобразной теории, по которой жизнь есть горение, душа —

огонь, горящий то сильнее, то слабее; отсюда вся психологическая терминология Пушкина: высшее напряжение жизни в человеке он определяет словами „пламенная душа“, всякое сильное чувство, всякую страсть называет пламенем и, напротив, бесчувствие — остылостью, холодом. Стоит любой странице раскрыть стихотворения Батюшкова — перед нами та же термодинамическая психология во всех подробностях; все ее основные речения Пушкин готовыми нашел у Батюшкова. Если Пушкин множество раз говорит: „Воскреснув пламенной душой“, „Впервые пламенной душой — Она любила“, „И гаснет пламенной душой“ и т. п., то Батюшков уже до него писал:

И в пламенной душе на веки начерталась

(Посл. к И. М. Муравьеву-Апостолу),

Вас пламенны сердца приветствуют стократ

(Таврида),

Любимец нежной музыки

И пламенных сердец

(Ответ А. И. Тургеневу).

Привычное Пушкину употребление слов „пламень“, „огонь“, „жар“ в психологическом смысле встречаем уже у Батюшкова. У Пушкина:

Он создал нас, он воспитал наш пламень...

Но в нем пылает пламень скрытый...

— у Батюшкова:

И в осень дней твоих не погасает пламень,

Текущий с жизнью в крови

(К престарелой красавице);

У Пушкина:

Твоим огнем душа палима, —

У Батюшкова:

Еще он любит голос лирной,

Еще в душе его огонь...

(К С. С. Уварову);

у Пушкина много раз — „сердца жар“: „неизъяснимый сердца жар“, „священный сердца жар“, „сердца жар неосторожный“, и т. п., — у Батюшкова раньше:

Но слезы умиленья,

Но сердца тихий жар...

(Мои пенаты)

И весь арсенал речений, определяющих любовную страсть, как огонь, жар, пламень, — речений, с такой изумительной виртуозностью разработанных Пушкиным (Гольф., стр. 45 — 55), — полностью представлен уже у Батюшкова, по крайней мере в основных, типических формах. Уже Батюшков писал: „И в буре пламенных страстей“ (Надежда), „от пламенных страстей“ (К другу), „Восторги пылкие“ (из Павла Силенциария), „В восторге пламенном“ (Истинный патриот), „И первый жар в крови“ (Мечта), „пламенный Эрот“ (дважды Из Гедила и Привидение).

Любовь еще горит во пламенных мечтах  
Любовницы Фаона.

(Мечта);

О, пламенный восторг, о, страсти упоенье,  
О, сладострастие...

(Мщение);

Где любовник воскресает  
С новым пламенем в крови.

(Отрывок из элегии);

Вдохни огонь любви в холодные слова.

(Послание к гр. М. Ю. Велеурскому);

Полмертвый, но сгораю;  
Я вяну, но еще так пламенно люблю,

и т. д. (Из греч. антологии XII).

Это — терминология и часто стилистика Пушкина. Точно так же и определение поэзии и поэтического вдохновения, как огня, Пушкин нашел готовым у Батюшкова: достаточно сравнить выдержки из Пушкина, собранные в „Гольфстреме“ (стр. 55 — 60), со следующими стихами Батюшкова:

И огонь поэзии...  
Наш Пиндар чувствовал сей пламень потаенный,  
Сей огонь зиядательный...

(Послание к И. М. Муравьеву-Апостолу);

там же —

Пламенный оратор иль пийт, —

как в другом месте (К портрету Жуковского) — „пламенный Тиртей“;

Я чувствую, мой дар в поэзии погас,  
И муза пламенный небесный потушила

(Воспоминание);

Там скальды пели брань, и персты их летали  
По пламенным струнам

(На развал. замка в Швеции).

Все это — Пушкинские речения: „огнь поэзии“, „огнь поэзии чудесный“, „пламенный поэт“ и т. д., — вплоть до „пламенника“: „Твой (поэта) светоч, грозно пламенея“ (А. Шенье).

Уже Батюшков употреблял глагол „кипеть“ в психологическом смысле. Он говорит: „кипяща брань“ (На развал. замка в Швеции), „Тебя, младый Ринальд, кипящий как Ахилл“ (Умирающий Тасс), как позднее Пушкин: „кипящий Ленский“ или „Но юноше, кипящему безумно“. У Батюшкова: „О, други, как сердце у смелых кипело“ (Песнь Гаральда Смелого), — у Пушкина:

Моя душа  
В то время радостно кипела

(Цыганы).

У Батюшкова: „И в радости... кипел и трепетал“ (На развал. замка в Швеции), — У Пушкина то же:

Я закипел, затрепетал

(Выздоровление),

Любовник под окном  
Трепещет и кипит

(К вельможе).

Налицо у Батюшкова и противоположный ряд речений, столь привычный Пушкину: бесчувственность — как остылость или холод. Он говорит: „Изнемогает жизнь в груди моей остылой“ (Из греч. антол. XII), как позднее Пушкин: „Не спрашивай, зачем душой остылой“, или „Во глубине души остылой“. У него читаем: „И то, чем ныне стал под холодом годов“ (Есть наслаждение), как у Пушкина: „Под хладом старости“... И он не раз употребляет выражение: „хладные сердца“ (напр. Мечта, Н. И. Гнедичу 1808 г.), обычное у Пушкина; и он говорит: „над хладною могилой“ (Из Мелеагра), как Пушкин: „Схожу я в хладную могилу“.

У Батюшкова находим и другие два ряда Пушкинских речений того же термического порядка: те, что представляют

чувство, как жидкость, и те, что изображают душу или отдельные душевные состояния, как газообразное. Он говорит:

Мы пили чашу сладострастья  
(К другу),

или:

Пей из чаши полной радость  
(Отрывок из элегии),

как позже Пушкин:

Я хладно пил из чаши сладострастья  
(Позволь душе моей),

или:

И чашу пьет отрады безмятежной  
(Гавририада);

он говорит:

Все в неистовой прельщает,  
В сердце льет огонь и яд  
(Вакханка),

как Пушкин:

Играть душой моей покорной,  
В нее вливать огонь и яд  
(Как наше сердце своенравно)

Он говорит:

И все душа за призраком летела  
(Тень друга),

или:

В мир лучший духом возлетаю  
(К другу),

как позже Пушкин:

К тебе я сердцем улетаю  
(Русл. и Людм. V, черн.),

или:

Душа к возвышенной душе твоей летела  
(К Жуковскому).

У Батюшкова:

Воспоминания, лишь вами окрыленный,  
К ней мыслию лечу  
(Воспом. 1807 г.),

у Пушкина:

Я к вам лечу воспомянем  
(Горишь ли ты);

у Батюшкова:

светлый ум,  
Летая в поднебесной  
(Мои пенаты),

У Пушкина то же много раз: „Ум далече улетает“, „Ум улетал за край земной“ и т. п. Мало того, даже наиболее смелые речения этого рода, встречающиеся у Пушкина, нередко имеют прообраз у Батюшкова. Так, у Батюшкова:

Я Лилы пью дыханье  
На пламенных устах,  
Как роз благоуханье,  
Как нектар на пирах  
(Моя пенаты), —

у Пушкина:

И девы-розы пьем дыханье,  
Быть может полное чумы;

и Пушкинское употребление глагола „дышать“: „Гирей, изменою дыша“, „Теперь дыши его любовью“, „Мы в непрерывном упоенье дышали счастьем“, „Еще поныне дышит нега в пустых покоях и садах“ и т. п., встречаем уже у Батюшкова:

Одной любви послушен,  
Он дышит только ей  
(Ответ А. И. Тургеневу);

Ты дружбою велик, ты ей дышал одною  
(Дружество);



Все здесь, друзья, изменой дышит

(Разлука);

В места, где дышит все любви очарованьем

(Мечта).

Наконец, у Батюшкова находим и многие отдельные речения Пушкина, относящиеся к тому же кругу идей, как напр., „печали бремя“, уподобление речи (поэзии) — жидкости, напр.:

*И песни, веселию  
Приятнее Нектара  
И слаще амвросии,  
Что пьют небожители...  
Польются со струн ее*

(Радость),

как у Пушкина многократно: „Мои стихи... текут, ручьи любви“, или сравнение поэзии Языкова с брагой: „Она не холодной льется влагой... Она разымчива, пьяна“ и т. д., или определение знания, как света, напр., у Батюшкова:

Несносной правды вижу свет

(Элегия, из Парни, 1805 г.),

у Пушкина:

Уж холодной истины докучный вижу свет

(А. А. Шишкову).

Пора подвести итог. — Приведенные здесь сопоставления, кажется, неопровержимо доказывают, что Пушкин нашел у своего ближайшего предшественника, с произведениями которого он был от юности хорошо знаком, все основные речения своей своеобразной психологической терминологии. Вычеканил ли их Батюшков сам из материала народного языка, или частью взял уже готовыми из предшествовавшей ему поэзии, это для нас здесь безразлично; во всяком случае, Пушкин нашел у него богатый подбор их и полностью усвоил их себе.

Но этому факту противостоит другой, столь же несомненный. Исследование, произведенное мною в „Гольфстреме“, обнаружило в поэзии Пушкина полную и подробно разработанную систему психологических воззрений, основанную на представлении о термической природе души. Что здесь перед нами действительно система, органическое выражение личности в своеобразном цикле идей, — в этом нас убеждают единство

и непрерывная последовательность Пушкинской терминологии, ее глубокая подсознательная продуманность, ее обилие и находчивость, ее удивительное многообразие. У Батюшкова такой системы явно нет; в его поэзии — лишь многочисленные зародыши ее, воспринятые из языка и оформленные, как бы отдельные камни, отесанные поэтом. В „Гольфстреме“ показано, что термодинамическая психология присуща всему человечеству и воплощена во всех языках, между прочим и в русском; очевидно, Батюшков нащупал ее в языке и оценил и частью вынул из языка и оформил ее материал для поэтического употребления. Но у него нет ни строгой последовательности Пушкина, ни его точности в применении этой терминологии. Лишь изредка встречаются у него те двойные, контрастные речения, столь частые у Пушкина, которые обнаруживают сознательность словоупотребления; таковы, напр., стихи:

Вдохни *огонь* любви в *холодные* слова  
(Послание к гр. М. Ю. Велеурскому),

И гордый ум не победит  
Любви — *холодными* словами  
(Пробуждение),

...стихами  
Горесть сердца *успокаивал*  
(К Н. И. Гнедичу, 1807 г.)<sup>1)</sup>

Несравненно чаще он передает термин, впадая в формализм или отвлеченность. Пушкин не мог сказать:

Когда *струей небесных* благи  
Я утолю любви *желанье*  
(Надежда),

или:

И в осень дней твоих не погасает пламень,  
*Текущий с жизнью* в крови  
(К престарелой красавице).

или:

Любовь еще *горит* во *пламенных* местах  
(Мечта),

---

<sup>1)</sup> Сравн. у Пушкина «Гольфстрем», стр. 28 — 29 и *passim*.

как не мог бы Пушкин сказать:

Мне готова  
Цепь, сотканна из сует  
(К И. А. Петину).

или:

Счастлива, счастлива, кто цветами  
Дни любви украшал  
(там же),

или:

Прерву теперь молчанья узы  
Для друга сердца моего  
(Н. И. Гнедичу, 1808 г.),

или:

Мечты, повсюду вы меня сопровождали  
И мрачной жизни путь цветами устлали  
(Воспом., 1807 г.);

все это цветы бумажные и цепи отвлеченные; Пушкин никогда не употребляет конкретных слов в переносном смысле. Все это с несомненностью свидетельствует об одном: Пушкин безошибочно подбирал свои слова из единого, незыблемого внутреннего образа — идеи, у Батюшкова же такой незыблемой внутренней точки не было, а было лишь некоторое смутное пятно, и потому конкретное слово сплошь и рядом соскальзывало в отвлеченность или пустоту. По верному чутью он сумел разглядеть и поднял с улицы и огранил немало камней, но не узнал в них зиждательной воли; в стройное здание по образу своего духа сложил их уже Пушкин: вот мера — и граница его оригинальности.

То, что я сказал до сих пор, касается одного гнезда Пушкинского мышления и словоупотребления — его термодинамической психологии. Совершенно тот же результат мы получим при исследовании других подобных гнезд. Остановлюсь еще на двух. В статье „Явь и сон“<sup>1)</sup> я разобрал многочисленные заявления Пушкина, рисующие противоположность между дневным, бодрственным состоянием души — и ее самопогруженностью, которую Пушкин определяет, как

<sup>1)</sup> В восьмом томе Харьковских «Вопросов теории и психологии творчества», 1923 г.

„забвение“ или „сон души“. Оказывается, что термин „забвение“, именно в этом необычном смысле, употреблял уже Батюшков, притом с тем же знаком превосходства; уже он говорит: „в сладостном забвеньи“ (Мечта), как Пушкин многократно: „В забвеньи сладком ловит он“, „В забвеньи сладком близ друзей“ и т. п. Он говорит:

Но ветров шум и моря колыханье  
На вежды томное забвеньи навели

(Тень друга);

Счастья шаткого любимец  
С нимфами забвеньи пьет

(Счастливец),

О сладострастие, себя, всего забвеньи

(Мщение),

как Пушкин: „День восторгов, день забвенья“, „Там бессмертье, там забвеньи“, „Забвеньи жизни в бурях света“ и т. д. Но дальше Батюшков не идет: он только констатирует данное состояние и односложно оценивает его. У Пушкина здесь опять глубоко-обдуманная и детально-разработанная, последовательно проводимая на протяжении многих лет, в нем самом из личного опыта расцветшая мысль о самозаконной, адекватной жизни духа в противоположность его рабским состояниям на яву.

Третье гнездо — мысль Пушкина о загробной жизни<sup>1)</sup>. Термин „тень“, неизменно употребляемый Пушкиным для обозначения личности после смерти, опять таки именно в этом необычном смысле часто встречается у Батюшкова. Может показаться даже, что Пушкин перенял у него свою веру в загробное переживание. Их язык иногда сходен до тождественности; Батюшков пишет:

И надо мною тень Лауры пролетает

(Вечер),

Пушкин:

...и верно надо мной

Младая тень уже летала.

У Батюшкова, несомненно, заимствовал Пушкин и слово „ничтожество“ в смысле полного уничтожения в смерти: „В обители

<sup>1)</sup> См. мою статью «Тень Пушкина» в сборнике «Искусство». Журн. Академии Худож. Наук. Москва. 1923.

ничтожества унылой“ (Из Мелеагра). В стихотворении Батюшкова „Привидение“, 1810 года, есть такие строки:

... Но из могилы,  
Если можно воскресать,  
Я не стану, друг мой милый,  
Как мертвец, тебя пугать.  
В час полуночных явлений  
Я не стану в виде тени  
То внезапно, то тишком  
С воплем в твой являться дом.

Очень возможно, что этими строками навеяны следующие два образа у Пушкина: во первых, „К молодой вдове“, 1816 года, где поэт успокаивает молодую вдову во время любовного свидания:

Верь мне: узников могилы  
Беспобуден холодный сон...  
Нет, разгневанный ревнивец  
Не придет из вечной тьмы!  
Тихой ночью гром не грянет  
И завистливая тень  
Близ любовника не станет,  
Вызывая спящий день;

и в другой раз, о Ленском, в черновой рукописи 7 песни „Онегина“:

...из могилы  
Не вышла в сей печальный день  
Его ревнующая тень,  
И в поздний час, Гимену милый,  
Не испугали молодых  
Следы явлений гробовых.

Нет сомнения, и здесь Пушкин нашел у Батюшкова некоторые опорные точки. Но у Батюшкова нет никакой *своей* мысли о загробной жизни, если не считать за таковую голое утверждение:

...Но, ах!  
Мертвые не воскресают!

(Привидение).

Картины загробной жизни, которые он не раз рисует („Отрывок из элегии“, „Мои пенаты“, „Элегия из Тибулла“, „Мечта“ и др.), — шаблон французской поэзии XVIII века, всегда легкая поэтическая игра, никогда не дело. Даже там, где он, единственный раз, хотел серьезно обработать такой сюжет, где он изображает, как Пушкин, явление тени живому, —

в стихотворении „Тень друга“, — он сразу и заранее снимает с явления всю конкретность словами: „То был ли сон!“... („И вдруг... То был ли сон!.. Предстал товарищ мне“...). У Пушкина — выстраданная, глубокая мысль о загробной жизни, и там, где он рисует тень, — ни с чем несравнимая категоричность.

„При сгущении раствора он сначала делается пересыщенным и иногда может очень долгое время сохраняться в таком виде, особенно если приложить заботу к сохранению его в спокойном состоянии и к чистоте окружающего воздуха“; такова поэзия Батюшкова. „Прикосновение ничтожных следов того твердого вещества, которое может выпасть из раствора, вызывает энергичный процесс такого выпадения в виде кристаллов“; такая кристаллизация — поэзия Пушкина.